

ТИМУР ПУЛАТОВ

МЛАДОБУХАРЕЦ ПРОТИВ МЛАДОТРОЦКИСТОВ

2. "...Это я дежурю, я дежурный по "Апрелю"..."

Утром следующего после краха ГКЧП дня на территорию Дома творчества в клетчатом пиджаке и кепке английского покроя горделиво въехал на велосипеде Евгений Евтушенко. Сделав несколько победных кругов вокруг толпящихся во дворе литераторов, обсуждающих аресты и самоубийства "путчистов", он, по натуре тревожно сосредоточенный на ощущении собственного величия, тем не менее, старался изобразить лёгкость и любезность в разговоре со всё ещё обескураженными происшедшими событиями "собратьями по перу". К нему потянулись писатели и журналисты, кому ещё вчера грозило долгое пребывание в подполье. Поздравляли друг друга вымученно, не до конца ещё избавившись от страха, шутили.

Евтушенко повелительно бросил кому-то:

– В двенадцать в "большом" Союзе собирается гэкачепистский оргкомитет. Тут мы их всех и накроем...

А я ведь в суматохе и забыл, что тоже приглашён Михалковым на сегодняшнее мероприятие. В голове было лишь одно: поскорее бы уехать из взбесившейся Москвы...

Я протиснулся к "больше чем поэту" со своим, с наболевшим...

– Нет проблем, – откликнулся он. – Позвоню Гавриилу Харитоновичу...

Я отошёл к ожидавшему меня Бердыназару Худайназарову, пожалуй, лучшему в то время в Туркменистане прозаику, председателю Союза писателей Туркмении. Он тоже был приглашён на заседание оргкомитета IX съезда в "Дом Ростовых" на Воровского, и я рассказал ему об услышанной мной реплике Евтушенко о захвате "большого" Союза.

Чувство долга и любопытство провинциалов погнало нас на улицу Погодина, чтобы поймать машину до Москвы. Неожиданно рядом затормозили "Жигули". В полукрытую дверь выглянул Андрей Битов:

– Ты куда, Тимур?

– На Воровского, – обрадовался другу.

– Сначала в Пен-центр, – поставил условие Битов. – Ожидаются перемены...

Слово "перемены", которое меня всегда настораживало, теперь звучало обыденно – во времена больших и малых перемен к ним привыкает даже закоренелый ортодокс.

Быстро доехали по обезлюдившей Москве до Неглинной, где в старинном особняке располагался русский Пен-центр, в отличие от нашего, среднеазиатского, имевшего лишь угловой столик в общей бухгалтерии Союза писателей в Ташкенте. Столичный размах. . .

В зале с лепниной и масонскими знаками в виде наблюдающего глаза на стенах и потолке (вспомнилось “всевидящее око” Большого Брата из романа Оруэлла) вопрос о переменах был поставлен уже в начале заседания. Отъезжающий на ПМЖ в США Анатолий Рыбаков сложил с себя полномочия президента Пен-центра, рекомендовав Андрея Битова, что было встречено гулом одобрения пен-клубовцев.

Проголосовав, как и все, за Андрея Георгиевича, я извинился и поспешил к выходу вместе с Худайназаровым, чтобы успеть на заседание оргкомитета.

Пришлось останавливать левака, но его машину задержал гаишник у въезда в тоннель под проспектом Калинина. Пошли пешком по верхней дорожке и тут в тоннеле заметили знакомые лица – Александра Руцкого, Руслана Хасбулатова, Егора Гайдара. . .

Окружность тоннеля, которая втягивала цепочку людей, среди которых находились наши главные демократы, была знакома нам по телевизионной картинке, примелькавшейся за эти три сумасшедших дня. Полутёмная сырая труба словно воссала в своё чрево трёх молодых москвичей, находящихся в таком возрасте, когда жизнь кажется игрой, а смерть – потехой. . . Погибших по неосторожности вскоре объявят героями, на деле же они стали сакральными жертвами новой революции, которая, как Молох, всегда требует кровавых жертв. . .

Во дворе “Дома Ростовых” среди проржавевших служебных “Волг” выделялся своей крутобокой лакированной статью блестящий “Мерседес” Евтушенко. Он обогнал нас. Худайназаров придержал шаг и заметил:

– На такой игрушке у нас ездит пока лишь президент Туркменбаши. И больше никто. . .

Едва мы с Бердыназаром, запыхавшись, поднялись на второй этаж, как увидели приёмную, набитую людьми, попеременно прикладывающими ухо к массивной лакированной двери кабинета, где шло заседание. Взволнованных сотрудников, естественно, интересовало, что будет теперь с Союзом писателей. Наше неожиданное появление на пороге прервало возгласы и смех сидевших за длинным столом во главе с Евтушенко, рядом расположился растерянный и обескураженный Михалков.

Как потом выяснилось, шумное веселье было результатом панического бегства секретарей Союза при появлении час назад во дворе “Дома Ростовых” группы *апрелевцев* под предводительством Евтушенко. Жаль, опоздал, не успел увидеть, как литературные чиновники, встречающие, бывало, каждого пришедшего с какой-нибудь просьбой писателя миной скучающего ростовщика-процентщика, так стремительно и в ужасе ретировались, оставив несчастных сотрудников толпиться в приёмной в ожидании милости победителей, захвативших все кабинеты.

Более или менее правдивую картину случившегося передала активная участница налёта поэтесса Татьяна Кузовлёва в интервью радио “Свобода”: “Первым размашистой походкой вошёл в здание Союза писателей Евгений Евтушенко, и тут же безмолвно из кабинетов вдруг посыпались бывшие секретари Союза писателей СССР, которые вскакивали в свои служебные чёрные “Волги”, и эти “Волги” выносились стремительно на улицу. Было такое ощущение, что бывшие секретари Союза писателей смертельно боялись встречи. . .”

Пристроившись у края стола, я стал всматриваться в весёлые лица. Многих узнавал с первого взгляда. Тут были Г. Бакланов, А. Ананьев, М. Шатров, А. Приставкин, Ю. Черныченко, А. Адамович, А. Нуйкин, Н. Панченко, А. Салынский, А. Афиногенов. . . При всём разнообразии лиц, выглядели они все, как братья по крови. . . Тщедушные их тела так и распирало от собственной значимости.

За маленьким, приставленным к камину столиком уютно пристроился журналистский пул: Ирина Ришина из “Литературной газеты”, Эдмунд Йодковский из апрелевского органа “Литературные новости” и вездесущий сотрудник “Гуманитарного фонда” рыжеволосый Илья Куц-Жарко. Это он придумал новые литературные жанры. Традиционный авторский монолог

стал называться “оральной публицистикой”, а бурные аплодисменты – “всплеском оргазма”...

Куш-Жарко не отводил колючего взгляда от Евтушенко, ведущего собрание, ожидая, что революционная страстность оратора причудливо трансформируется в сексуальный образ. От революции, творимой писателями внутри своего цеха, он ожидал рождения новых форм мазохизма, которые непременно должны были пойти в народ.

Между тем, Евтушенко, плечом оттесняя Михалкова с председательского места, с угрозой в голосе повторял:

– Так вы подпишете протокол о самороспуске оргкомитета, поддержавшего ГКЧП, и об отказе от девятого съезда?.. – А чуть зазевавшейся было Наталье Ночвиной из отдела кадров, которая вела протокол заседания, повелительно приказал:

– Занеси вопрос в протокол!

Сергей Владимирович Михалков от волнения стал заикаться, пытаясь отбиться от наседавшего на него нахрапистого стихотворца, а я вспомнил восьмой съезд писателей СССР, где многие из сидящих здесь, в том числе и Евтушенко, не были избраны секретарями и в правление Союза писателей. И хотя съездом дирижировал идеолог перестройки А. Н. Яковлев, тогда в Союзе писателей не сработал сценарий, обкатанный в Союзе кинематографистов, где выдающегося режиссёра Сергея Бондарчука подвергли остракизму и заменили посредственным кинодеятелем.

Судя по настроению большинства писателей, оставшихся без своих газет, издательств, журналов, доведённых до нищеты, оболганных, названных краснокоричневыми и коммунофашистами, намеченный на сентябрь IX съезд и вовсе не избран бы апрелевцев делегатами, что и случилось на собрании Московской писательской организации, а для амбициозных и самолюбивых Евтушенко, Черниченко, Бакланова это было равносильно тому, что их вовсе выдворили за порог литературы...

Прокурорская по тону реплика Бакланова вывела меня из тяжёлых раздумий:

– Какие вопросы могут быть к защитнику путчистов?!

– Какой я... – задохнулся от негодования Михалков. – Мой сын Никита стоял в “живом кольце” у Дома Советов...

– Сын за отца не отвечает, – съязвил Нуйкин. – Вам, любимцу Сталина, разве не известно это высказывание тирана?

– А секретариат 20 августа?.. Вспомните-ка, что вы говорили, Сергей Владимирович? – насупив брови, спросил Евтушенко, с шумом раскрывая газету на столе. – В “Комсомолке” всё объективно изложено присутствовавшими на вашем сборище Савельевым и Казаковым...

Оба клерка, настроившие среди прочего донос на человека, помогавшего им решить квартирный вопрос, чуть привстали в готовности, как дрессированные собачки.

– Вот достойные свидетели вашего и других секретарей позора и предательства! – указал на них Евтушенко. – Так будете подписывать протокол?..

– Подпишу... – еле слышно проговорил Михалков.

И только после этих слов бледного, истерзанного пожилого человека в моём сознании окончательно оформилось ёмкое слово “захват”, как принято говорить сегодня, *рейдерство*. А как же клятвенное заверение одного из отцов-основателей “Апреля” Л. Жуховицкого о том, что движение не стремится к власти в писательском сообществе и не примет власть, даже если её предложат?..

Выходит, после этой благородной декларации они не особенно и дожидались: не предложат – возьмём сами. И вот наступил этот момент...

Всё, что я увидел и услышал, возмутило меня до глубины души. И это творилось в среде людей, называющих себя интеллигентами! Особенно возмущала откровенная ложь *апрелевцев*. Ведь было заявлено, что оргкомитет, протокол о роспуске которого заставили подписать Михалкова, в полном составе поддержал ГКЧП, хотя мы с Бердыназаром, да и многие из не присутствовавших здесь членов оргкомитета этого не делали, находясь вдали от Москвы. Затем одним росчерком пера был отменён очередной, IX съезд писателей, делегатами которого мы с Худайназаровым тоже были избраны.

– Прежде чем ликвидировать законно избранный оргкомитет, вы спроси-

ли мнение всех его членов? Нас, например, с Худайназаровым?! – не выдержал я внутреннего напряжения.

– Сейчас и до вас дойдём, – не терпящим возражения голосом резко ответил Евтушенко.

Но высокомерная его резкость только подзадорила меня. Я встал:

– Нам, восточным людям, привыкшим уважать старость, крайне неприятно слушать, как вы, Евгений Александрович, давите на пожилого человека. – И машинально вынув из бокового кармана членский билет, продолжил: – Я не признаю незаконный разгон оргкомитета и IX съезда. И если вы не прекратите такое недостойное поведение, я подам заявление о выходе из Союза писателей.

Повернулся к Наталье Ночвиной (она много раз потом вспоминала этот эпизод) и сказал:

– Занесите мои слова в протокол...

Словно подгоняемый в спину всё тем же горячим импульсом, я вышел в коридор.

Там, стоя у окна и глядя на унылый дворик с памятником Толстому, на портик старинного здания, едва держащийся на деревянных, местами уже прогнивших столбах, даже не подумал в этот момент, что теперь уж точно останусь безбилетником: звонок от Евтушенко всемогущему Гавриилу Попову не состоится... Мне почудилось, как я на перекладных, автостопом добираюсь до дома сквозь две пустыни...

Но неожиданно в приёмную вышел Григорий Бакланов и попросил меня не обижаться на Евтушенко; мол, эмоционален, иногда его заносит... Словом, меня попросили вернуться на заседание.

Я понял их затруднение: для того чтобы считать легитимным захват Союза писателей, апрелевцам необходимо присутствие хотя бы двоих делегатов из других республик. Ведь на этом так называемом секретариате присутствовало лишь десять из тридцати шести его членов.

За время, пока я ждал Бердыназара в приёмной, Ночвина напечатала протокол о самороспуске. Сергей Владимирович подписал бумагу и, пошатываясь, вышел за дверь, что спасло его от дальнейших унижений.

Как дело давно решённое, Евтушенко диктовал Ночвиной причины изгнания с секретарских должностей С. Колова, Н. Горбачёва, Ю. Грибова, Ф. Кузнецова, Ю. Верченко: не за трусливое бегство при появлении в дверях Союза писателей литературных инквизиторов, а за “недостойное советского писателя поведение в дни путча”, за то, что не дали отпор призыву секретаря СП России Сергея Бобкова поддерживать ГКЧП. Заодно были осуждены и выведены из состава секретариата Ю. Бондарев, В. Распутин, А. Проханов, подписавшие “Слово к народу” – идеологический манифест ГКЧП.

После того как расправились с неугодными, началось самое важное – делёж портфельей. Первым на должность секретаря волею Евтушенко был назначен Владимир Савельев – один из клерков, подписавших донос в “Комсомолку”. Его соавтор Казаков обиделся и дёрнулся к двери, но ему была обещана “хлебная” должность: место Александра Бака, сидевшего на раздаче машин и квартир, или же должность директора Издательского дома “Литературная газета” вместо Головчанского.

Худайназаров наклонился ко мне и шепнул:

– А ты не хочешь с ними поработать?

– Дома меня ждут...

– Не горячись. – Худайназаров был бесстрастен, как истинный туркмен. – Поработаешь годик, разберёшься с дачами в Переделкино. Ведь это дачи Литфонда СССР, а живут там одни москвичи – несправедливо...

Он говорил так, словно дразнил моё самолюбие.

– Как только ты защитил аксакала Михалкова и вышел, хлопнув дверью, покинув позорный курултай, я заметил: все растерялись и несколько минут не могли говорить... Поверь мне, старшему по возрасту, и демократы, и фашисты одинаково уважают силу и крутой нрав.

Он вдруг встал, сутулый и высокий, и густым басом начал:

– Послушайте, ваш многолетний секретарь по национальным литературам Юрий Иванович Суворцев, не знаю, может он и хороший человек, но работник неважный. Книг наших не читает. Зато перед каждой поездкой в Туркменистан наказывает консультанту: “Ты постарайся, чтобы в Мары мне преподнесли

расшитый халат, в Ташаузе — мягкие лайковые сапожки, а в Ахшабаде из рук главы города — шерстяной ковёр...” Так до ахалтекинскога скакуна вскоре дойдёт... Зачем нам такие кадры? От имени писателей Средней Азии на эту должность предлагаю кандидатуру Тимура Пулатова.

Не знаю, что бы ответил Бердыназару сам Суровцев, опоздавший на секретариат из-за сбоя в работе электричек и приехавший вместе с Константином Скворцовым лишь к концу делажа портфелей, но после неожиданного заявления Худайназарова воцарилось неловкое молчание. Нуйкин скрёб ногтями лак стола, Огнев в задумчивости спрятал подбородок в прорезь косоворотки, Афиногенов тяжело дышал.

Евтушенко, не мигая, смотрел на меня колючим взглядом, обдумывая свой хитроумный ход, и лишь клерк-доносчик Казаков, всё ещё надевавшийся получить сопоставимую с савельевской должность, сказал:

— Мы его не знаем... Из какого он лагеря?..

— Да, Восток — дело тонкое, — подал голос Нуйкин.

И тут Евгений Александрович показал, на что способно его умение лавировать в быстро меняющейся ситуации.

— Да кто не знает Тимура Пулатова — одного из лучших прозаиков! Он, кстати, как и большинство из нас, — *шестидесятник*. (Напомню: термин *шестидесятники* был введён в оборот критиками в годы хрущёвской оттепели, наряду с *деревенщиками* и *городскими* писателями группой авторов литературных журналов. — Т. П.). В Ташкенте я не мог найти его, сказали, что живёт отшельником, пишет странную прозу и не ходит в тамошний Союз писателей. Он сопровождал Беллу Ахмадулину во время её творческих вечеров в Узбекистане... А с Андреем Битовым они друзья. Андрей как-то придумал для Тимура определение: “тихий диссидент”, — то есть не кричит, не высказывается... Тоже, надо сказать, смелая позиция в условиях тотального контроля на его родине... Я — за! А Юрий Иванович Суровцев — учёный, академик, он не останется за бортом...

— Пусть расскажет свою программу, — не унимался Казаков, которому была обещана несравненно более прибыльная должность: распределение дач, квартир, машин...

— Программа у Пулатова, как и у всех нас, — отстаивать свободу творчества! — патетически воскликнул Евтушенко. — Всё то, чего мы добились, обходя цензурные рогатки. Рогаток этих нет, но есть шовинисты, фашисты... Пример тому — фашистская вылазка в ЦДЛ. Тимур этого не видел, его не было в Москве, но я не сомневаюсь в его ненависти к русским фашистам, от которых он так много страдал!

Так политически-плакатно поддержал мою кандидатуру Евгений Александрович.

Мой резон во всём этом был в стремлении окунуться в какое-то живое дело, выйти из полосы застоя, хандры, найти смысл в работе. А резон Евтушенко в отношении меня был архииспытанным и безотказным — стремление продвинуть либеральные идеи в национальной среде и, держа эту среду под неусыпным контролем, вершить свои дела.

Вместе со мной Евтушенко назначил секретарями, кроме Савельева, Владимира Огнева, Артёма Анфиногенова, Валентина Оскоцкого, *ковролюб* Суровцева. Временно был оставлен и Константин Скворцов, хотя против него активно выступал Савельев.

Нуйкин, который всё время *косил под Троцкого*, назвал этих двоих “буржуазными спецами, работающими на революцию”. Он так вошёл в роль, что, увидев расслабленные позы своих сотоварищей, решил взбодрить их призывом:

— А теперь, господа, вперёд — через дорогу, в “Советский писатель”, выгоним оттуда Жукова, намеревающегося печатать “Протоколы сионских мудрецов” — фашистскую фальшивку!

Призыв был воспринят без энтузиазма. Наблюдая за Евтушенко, я подметил, что он, как и многие творческие натуры, говоря языком психиатрии, *циклотимичен*. Не умея, как восточные люди, равномерно распределять энергию гнева и буйства толпы, он быстро истощается, впадает в апатию и равнодушие. Эту психологическую особенность своего нового работодателя я решил учитывать, если он, паче чаяния, будет стучать на меня кулаком по столу, швырять чернильницей и совершать иные эмоциональные действия, свойственные людям, быстро взлетающим по служебной лестнице.

– Жукова оставим на завтра! – устало махнул рукой Евтушенко. – Перед нами теперь целая вечность.

Нуйкин, однако, рвался в бой. Его поддержали Костюковский и Панченко, который и намеревался сесть в кресло Анатолия Жукова.

Перед моими глазами живо предстали картины пустыни Гоби, где мы два года назад тряслись по бездорожью в машине с Жуковым в составе делегации писателей СССР. Я, пользуясь тем, что к снятию Жукова с должности именно сегодня и сейчас Евтушенко проявил апатию, возразил с твёрдостью в голосе:

– Жуков избран на пять лет правлением издательства. Набрал в два раза больше голосов, чем Анатолий Стреляный, работающий сейчас на радио “Свобода”. Не прошло ещё и двух лет... Устав не позволяет снимать Жукова без веских причин.

Моя осведомленность о Жукове и Стреляном, за состязанием которых я наблюдал как член правления “Советского писателя”, не остудила, однако, тех, кто намеревался во что бы то ни стало сегодня же провести *рейдерский* захват издательства. Нуйкин возмутился:

– Какие уставы, законы?!.. В революционное время действия соизмеряют не с прогнившими уставами и законами, которые сочинили для себя изгнанные секретари Союза, а с революционной целесообразностью... Разумеется, до того как мы напишем *нужные нам* законы и уставы...

Нуйкин, ставивший в смутное время захватнический инстинкт выше законов, не показался мне оригинальным. Где-то я уже читал подобное. Мучительно вспоминал: где же?... И лишь когда вернулся в Дом творчества, меня осенило. Я стал судорожно листать купленную в толпе митингующих на Пушкинской площади книгу незабвенного Льва Давыдовича Троцкого “Терроризм и коммунизм”.

“Вопрос о форме репрессии и её степени, конечно, не является принципиальным. Это вопрос целесообразности (подчёркнуто мною. – Т. П.). В революционную эпоху отброшенная от власти партия не может быть устранена угрозой тюремного заключения, так как она не верит в его длительность. Именно этим простым, но решающим фактом объясняется широкое применение расстрелов в гражданской войне...” (с. 65).

Привыкший мыслить образами и определениями, я всю эту компанию, по аналогии с собой – *младобухарцем*, стал отныне называть *младотроцкистами*, всё же надеясь тогда, что в новой революционной ситуации они не пойдут по стопам своего духовного учителя. Ошибался я простодушно... Пройдёт совсем немного времени, и имена сидящих здесь среди прочих будут ассоциироваться с расстрелами и гражданской войной в октябре 1993 года.

Евтушенко, которому надоела настырность Нуйкина, объявил заседание закрытым, и большая часть присутствующих через маленькую боковую дверь спустились в ресторан ЦДЛ. Неутомимые же революционеры Нуйкин, Костюковский и Панченко направились к памятнику Толстому, где их ждали, переминаясь с ноги на ногу, двое сотрудников издательства – тамшние *савельевы-казаковы* – с доносом на Жукова.

Хорошо, что в издательстве, прослышав про бегство с поля боя коловых-грибовых, к приходу *рейдеров* успели забаррикадировать столами, стульями и даже стопками книг все ходы и выходы, а у главного входа поставили двух ярмарочного вида казаков, которые встретили злоумышленников, свирепо подкручивая усы и грозно постукивая о ступеньки деревянными саблями.

Это произвело эффект, и те не посмели зайти за железную ограду...

Однако война войной, а обед по расписанию... Мы с Худайназаровым, чтобы успеть на ужин в Дом творчества, попытались остановить частного. Неожиданно возле нас затормозил “Мерседес”, из машины выглянул Евтушенко:

– Садитесь, я тоже в Переделкино.

Пока мы ехали, у импульсивного поэта поменялись планы.

– Заедем ко мне на дачу. Пообщаемся, поужинаем... Мне прислали бургундское вино из Франции и чуть ли не центнер красной рыбы из Дании...

В домашней обстановке Евгений Александрович был само дружелюбие и предупредительность, и не только по отношению к нам, гостям, но и к молодой жене и отпрыскам. Подумалось, что этому человеку ещё нужно? Прекрасная дача, обставленная дорогой мебелью, подлинники Пикассо, Сальвадора Дали, Шагала, Кандинского, на которые хозяин дома обращал наше

внимание (ровно через 20 лет всё это вошло в экспозицию прижизненного музея Е. Евтушенко, устроенного на территории дачи, вход платный. — Т. П.). Известность, многотысячные тиражи книг, банковские счета здесь и в США, кроме “Мерседеса”, ещё одна машина в гараже, кажется, “Ауди”...

В этом он перешеголял даже Туркменбаши, у которого тогда был лишь “Мерседес”.

Для чего этот литературный барин, которому так хорошо и удобно было жить в СССР, под крылышком прежнего Союза, связался с компанией *оголтелых неотроцкистов*? Славы это ему не прибавит...

Евгений Александрович выкладывал на тарелки красную рыбу, а я всё думал над проклятыми вопросами, связанными с гостеприимным хозяином.

Откупорив очередную бутылку с вином, он друг сказал с налётом грусти:

— Ребята, а ведь через два года мне — шестьдесят... Думаю проехать по стране с поэтическими вечерами. Заехать в Узбекистан и Туркмению. Надеюсь, друзья, что вы закажете для меня лучшие залы... А потом снова надолго в Штаты. Я ведь живу на две страны, и обе меня ценят и любят...

Безобидную поэтическую похвальбу насчёт любви к нему России мы, прощаясь с хозяином, отнесли за счёт выпитого бургундского. А насчёт любви благополучной Америки... ему видней!

Тогда я ещё не знал, что группа Евтушенко заодно попыталась захватить и здание Союза писателей России на Комсомольском проспекте (если б знал, то поперхнулся бы рыбьей костью).

Жена встретила моё новое назначение крайне встревоженно:

— Ты должен, как и прежде, писать... А для работы с людьми нужна гибкость, умение ладить и идти на компромисс. Тем более с таким экзотическим народом, как писатели. Через полгода ты всё бросишь... Так стоит ли оставлять нас одних в Ташкенте, где всё теперь беспокойно, как и здесь...

На следующий день поехал в Моссовет, в контору Гавриила Харитоновича, которому Евтушенко позвонил во время нашей рыбной трапезы. А вечером, проводив домашних в аэропорт, позвонил домой Анатолию Жукову.

Жуков произнёс в телефонную трубку полушутливо:

— Слышали, слышали... — И после короткой паузы сказал: — Спасибо, не позволил Нуйкиным развернуться... Пока ты их удерживал, мы обзвонили авторов издательства и достойно подготовились к встрече *прихватизаторов*...

— Откуда ты в курсе? — удивился я.

— Ночвина Наталья позвонила. И про то, как ты стыдил их за Михалкова, рассказала. Она — наш человек, можешь опираться на неё, Люду Власову, Нину Юсуфи из канцелярии... Но есть и те, кто недоумевает. Золотцев Стас недоумевает: “У Тимура совсем другой дух, национальный стиль... Что он нашёл общего с этой вражьей силой?..” А я ему: “Подожди, Пулатов не такой простой. В нём ангелы и черты воюют. Друзей не оставляет в беде”. И рассказал я Золотцеву, как ты меня на спине тасил до ближайшего аймака, когда от гобийского зноя мне стало плохо с сердцем... А Валентин Сорокин — тоже гобиец — говорит: “Восток — дело тонкое, не знаю, куда Пулатов дело поведёт...” Не знаешь — значит, ты с ним мало араки пил, — засмеялся Жуков.

— И Нуйкин, когда обсуждали мою кандидатуру, то же самое сказал, мол, Восток — дело тонкое, — прокричал я в хрипевшую трубку. — Я всегда под подозрением и у правых, и левых... а кто “Апрелю” поставляет клевету на тебя про сионских мудрецов?

— Есть у нас свои *савельевы*: редактор Гангнус, брат Евтушенко, и ещё один — Ефимов... Бог с ними... Завтра приду знакомиться с новым руководством, примешь меня? — перевёл разговор в шутку Жуков.

А вот как Анатолий Николаевич Жуков в своей книге “В эпицентре событий” (“Современный писатель”, 1999) описывает свой визит к Евтушенко на следующий день после нашего разговора:

“После изгнания Колова, Грибова и иже с ними пошёл я на приём к Евтушенко. Тот сказал, что признаёт меня как писателя, похвалил повесть, в которой судят кота, но сказал, что политик я плохой, в современной ситуации не разбираюсь. В кабинете был Пулатов и заступился, не раздумывая. Должность у Жукова выборная на пять лет, работает три года, особых нареканий нет. А если есть — надо созвать правление издательства — в нём представлены все региональные писательские организации — и спросить у них, а не решать по доносам Савельева, которые он печатает в “Книжном обозрении”

за подписью своей жены Кузовлёвой. Или я не прав, Женя? Евтушенко отступил: прав, Тимур, прав, но они говорят, что Жуков хочет издать “Протоколы сионских мудрецов”, требуют создать комиссию по проверке работы издательства. — Ну, и пусть проверяют, сказал Пулатов, но только члены ревизионной комиссии, а не случайные люди... Когда комиссия апрелевцев под руководством Якова Костюковского закончила проверку издательства, Пулатов созвал расширенный секретариат и заставил апрелевцев доложить свои претензии гласно, а мне публично отвечать на них.

Костюковский старательно прочитал акт проверки “Советского писателя” и по требованию Пулатова признал—таки, что “Протоколы сионских мудрецов” не изданы и в планах издательства этой книги нет.

Я без труда отвёл и другие их субъективные претензии, и тогда Г. Бакланов, уважаемый писатель, опустился до сплетни: он сказал, что с моим участием прежние секретари перечислили в частный банк под большие проценты 22 миллиона рублей. Надо назначить новое разбирательство. Словом, подступили с другого конца, хотели пришить мне финансовые махинации и убрать с должности, а может быть, и отдать под суд...

— Зачем откладывать?! — возразил Пулатов. — Здесь начальник финансово-экономического отдела, пусть скажет, знал ли Жуков о перечислении денег в частный банк?

— Никак нет! — вскочил со стула Магер. — Издательство перечислило нам все деньги в срок. Как мог Жуков участвовать?

— Удовлетворены ответом, Григорий Яковлевич? — спросил Пулатов.

Обескураженный Бакланов не ответил. Костюковский тоже смолчал.

— Ваша комиссия, Яков Аронович, не справилась со своей ролью, — едко сказал ему Пулатов”.

* * *

На второй день, придя выполнять свои должностные обязанности, Антонину Александровну, пережившую в своей приёмной руководителей Союза писателей Федина, Фадеева, Маркова, Карпова... я застал стоящей у начальственных дверей, прижавшись ухом к коричневому дерматину.

— На месте Евгений Александрович?..

Она с достоинством отстранилась от двери, не сходя с боевого поста, поправила очки и взглянула на меня недобрый взглядом, пытаясь понять: какой экзотический фрукт — съедобный или горький — назначен был давеча начальником.

— Анатолий Жуков доложил и ушёл... А вот Станислава Куняева Евгений Александрович провожал до самого двора...

Прикурив от тлеющей папироски другую, она смачно затынулась и, откашлявшись, добавила:

— А ведь Евтушенко и Куняев пару раз вместе приходили к Юрию Николаевичу Верченко, чтобы какую-то антологию издать... А сегодня за дверью — шум, разговор на повышенных тонах! Прислушивалась, не поломают ли стул, вазу разобьют ли... А вазы у нас подарочные, дорогие...

Едва я переступил порог начальственного кабинета, как Евтушенко упёрся в меня своим колючим взглядом и долго всматривался, как бы заново изучая меня.

— Ты знаком с Куняевым? — вдруг резко спросил он.

Интуитивно я перевёл разговор на несущественные подробности:

— Меня с ним лет двадцать назад познакомила в журнале “Дружба народов” Елена Александровна Мовчан из отдела критики.

— Жена украинского поэта Павла Мовчана? — почему-то переспросил Евтушенко. — Ладно, неважно... И каково твоё мнение о Куняеве?

Я пристроился к краю стола, чувствуя, что разговор зреет длинный.

— Я плохо знаю, чем сейчас занят Куняев... Но до моего провинциального далека доходило, что он один из тех, кто твёрдо стоит на своих позициях, — и в стихах и в жизни...

Евтушенко удивленно вскинул брови и, раскрыв страничку блокнота, протянул руку к телефону правительственной связи, так называемой “вертушке”.

А меня вдруг повело на откровенность:

– Знаешь, Женя, когда я учился на Высших сценарных курсах, мы жили в общежитии на Руставели вперемежку со студентами Литинститута... Я близко сошёлся с ребятами из этого круга: Николаем Рубцовым, Толей Передревым. Всю ночь напротив моей комнаты по кухне ходил взад-вперёд и читал стихи Бориса Примерова... Чаще всего он возвращался к одним и тем же строчкам: “Я умер вовремя – до света, и ожил вовремя – к утру. А рядом проходило лето в бредовом затыжном жару...”

Евтушенко, похоже, заслушавшись, положил на аппарат поднятую трубку.

– Интересно, интересно... А ты, оказывается, совсем не такой. Вчера меня уже упрекали в Переделкино, зачем я пригласил в Союз писателей азиата в халате и чалме... И что же тебя привлекало в этих камикадзе?

– Национальное, природное, естественное... Я ведь начал писать по-русски, обучаясь языку у классиков... Но в какой-то момент почувствовал, что мне тесно, не хватает лексики для выражения чувств. Надо окупиться в язык русской глубинки. И это было у Рубцова, Передреева, Примерова – незамутнённый дух языка. Поэтому старался держаться к ним поближе... Будучи в Москве, обязательно на пару дней ездил в Питер, к Фёдору Абрамову... А почему они камикадзе?

– А ты разве не слышишь: одна тоска, хмель непробудная, тяга к смерти... Это поколение домостроя никаким боком не вписалось в наш прогрессивный век, в наше революционное время, – со свойственной ему страстностью убеждал меня Евтушенко.

“Да, – подумалось мне, – никто из этих *домостроевцев* не сочинил бы ни “Братскую ГЭС”, ни “Считайте меня коммунистом”...”

– И ты, Тимур, со своей провинциальной окраины многого не видел и не можешь оценить бурные события последних лет в Москве. Куняев – тоже один из камикадзе... А явился он ко мне час назад с какими-то претензиями, почему я сделал то, написал это... И когда я доказал ему, что их время ушло безвозвратно, что им, квасным патриотам, остаётся лишь смириться со сдачей всех своих позиций, он ушёл, хлопнув дверью.

Из отдельных реплик полупёпотом, которые я слышал за ужином в столовой Дома творчества о попытке захвата *младотроцкистами* здания Союза писателей России, я примерно догадывался, о чём говорил Евтушенко на повышенных тонах с Куняевым.

Оглядываясь назад, хочу сказать, что надломившееся время развело поэтов по разные стороны баррикад, как и меня с Андреем Битовым, по разные стороны непроходимого и глубокого, как смертельная рана в сердце, разлома...

В связи со всем вышесказанным я вспоминаю свою поездку по Италии, где познакомился с Сергеем Владимировичем Михалковым. В составе делегации находился ещё один из тех, кого Евтушенко назвал “квасными патриотами” и “камикадзе” – Юрий Кузнецов, с которым в гостинице в центре Рима нас поселили в один номер. За окном с вечера и до утра шумели на площади темпераментные римляне и римлянки, доносились музыка из пивных баров. Несколько раз пытался я выманить из номера Юру на праздник буржуазной жизни, но он сопротивлялся, всякий раз доставая из рюкзака очередную бутылку русской водки. В отличие от Бориса Романова, с которым мы так же попали в один номер в Пекине и который держал в прохладе под лежанкой ящик вонючей местной рисовой водки, Кузнецов привозил с собой из Москвы исключительно только нашу “Столичную”. В те времена не пуганные ещё террористами авиационные власти не пропускали при досмотре в аэропорту и не разрешали провозить нашу дешёвую водку, консервы, колбасы, сыры, которые мы брали “за бугор”, дабы сэкономить суточные доллары и лиры.

Как люди, которых уже не веселит выпитое, а только ещё больше вводит в тоску, чувствующие себя чужими на празднике иностранной жизни, мы предавались воспоминаниям о прекрасной, взбалмошной студенческой поре, и оказалось, что мы с Кузнецовым в конце 60-х даже жили в одном общежитии “поэтов и киношников” на улице Руставели в Москве. И когда я медленным, полусонным голосом стал вспоминать трагикомическую историю соседа по этажу Николая Рубцова, как мы сообща собирали его во Дворец бракосочетаний, когда Рубцов надумал вдруг жениться и остаться в Москве, с Кузнецова будто хмель слетел, и он сел на кровать:

– Расскажи... Этого эпизода из биографии Коли я не знал...

Кто-то на время дал Рубцову-жениху сорочку, кто-то натянул на его худые плечи свой пиджак, я же презентовал ему галстук, который никогда не носил и не умел завязывать.

Такси уже протяжно сигналило вниз, и сокурсники Николая затолкали его, смущённого и растерянного, в лифт.

К вечеру в жестяных чайниках сварилипельмени, картошку, сложились на портвейн “777” и стали ждать возвращения новобрачных. Явился лишь один Передреев навеселе и принялся безудержно хохотать. В чём дело?.. Оказывається, когда такси подкатило к загсу, Рубцов, всю дорогу молчавший, вдруг высадил из машины свидетелей, а сам дал команду таксисту — ударить по газам — и на вокзал...

— Не вынесла душа поэта житейской суеты, бросил Москву и плачущую невесту — и на родину! — рассказал несостоявшийся свидетель регистрации брака Передреев.

Кузнецов долго молчал, а потом произнёс:

— Такими поэтами, как Рубцов, двигают не обстоятельства, а судьба... — И продекламировал глуховатым голосом: — “Слухи были глупы и резки: кто такой, мол, Есенин Серёга... сам суди: удавился с тоски, потому что он пьянствовал много... Да, недолго глядел он на Русь голубыми глазами поэта, но была ли кабацкая грусть?.. Грусть, конечно, была, да не эта!..” Вот так, — заключил Кузнецов, — Рубцов, как и Есенин, чувствовал зов судьбы. Потому и не остался в Москве, не слыша в каменных джунглях звуков своей малой родины. И уехал, чтобы встретить смерть от другой женщины...

Я подумал: какими высокими понятиями мыслят эти “квасные патриоты”, как величал их Евтушенко, — понятиями Судьбы, Земли, Святынями и самой Русью, в отличие от той категории поэтов-эстрадников, которые всегда умели держать нос по ветру.

* * *

Евгения Александровича хватило лишь на три дня. Энергия, бившая через край, позволяла ему при появлении на пороге кабинета четырьмя размашистыми шагами достигать стола с “вертушкой”, с налёту схватывать трубку. Приёмные Ельцина, Гайдара, Бурбулиса, Гавриила Попова — от этих имён мне становилось тревожно, как будто многоуровневая пирамида власти давила на меня сверху, как на раба фараона Хеопса, положенного в саркофаг рядом с телом владыки, чтобы обслуживать его и после смерти.

Сегодня, накануне важного собрания своих сторонников, где Евтушенко должен был объявить о новой структуре писательской организации, он появился бледный, невыспавшийся, с еле скрываемой неприязнью глядя на нас, своих помощников. Переход в психике поэта — от возбужденного до меланхолического состояния — был отягощен сообщением накануне в одной из газет о его якобы многолетнем сотрудничестве с КГБ. Естественно, мы с шутками-прибаутками в адрес “жёлтого листка” сели писать ответ “турецкому султану”, гневно защищая своего товарища. Опровержение, отредактированное “мастерами пера” — Суровцевым и Оскоцким, — подписал и я, хотя и вспомнил давний разговор за столом ресторана ЦДЛ. Неподалеку сидела весёлая компания во главе с Евтушенко, соревнуясь в остроумных тостах. Напротив меня незнакомый писатель, всё время требовавший у официантки тарталетки с гусяным паштетом, наклонился к соседу и сказал:

— Когда Женя напьётся, поведёт всю компанию в холл и будет звонить домой Андропову... Чтобы показать свои связи и нагнать страху на тех, кто плохо пишет о его стихах...

Я ждал, когда же это произойдёт. Но там, где сидел Евтушенко, официанты приставили ещё два стула и усадили к его компании двух иностранок, возможно, переводчиц поэта. При них он, естественно, не стал вести пьяную компанию в холл, к телефону.

Со смешанными чувствами я ушёл из ресторана, торопясь в аэропорт. Но спустя годы прочитал беседу председателя КГБ В. Федорчука с киевским журналистом И. Бессмертным, где он говорил о странной дружбе Андропова с Высоцким и Евтушенко, которым Юрий Владимирович тайно покровительствовал. “Доходило до курьёзов, — вспоминал Федорчук. — Бывало, пьяный Ев-

тушенко в кругу друзей-писателей демонстративно звонил Андропову по прямому телефону” (еженедельник “2000-Держава”, 12 января 2007).

А пока трезвый, но с резко пониженным градусом настроения, весь в думках об Америке, куда он собирался поскорее улететь, Евтушенко, потирая виски, пытался сосредоточиться, когда вошли Анфиногенов и Оскоцкий со своими списками. В списках были имена тех молодых литераторов, дела которых приёмная комиссия консервативного Союза писателей СССР отказывалась рассматривать.

Евтушенко всматривался в список, делая дополнения и уточнения. В окончательно утверждённом им списке оказалось 157 фамилий, среди которых я заметил и фамилию секс-гуманиста Куш-Жарко.

... В Большой зал ЦДЛ Евгений Александрович ступил в привычном энергичном темпе, и я в который раз оценил его артистическую способность перевоплощаться. Заранее договорившись, мы оба направились в президиум.

Объявив, что этим собранием создаётся новый, свободный и бесцензурный Союз писателей, Евтушенко стал зачитывать тот самый список 157 молодых писателей, которых “министерство литературы” не пускало на порог.

Принятые поспешно в Союз писателей единым списком сплошь оказались “новой волной”, “творцами культурной революции” – постмодернистами, кубистами, конструктивистами, дадаистами, пишущими лесбийскую прозу и поэзию, фетишистами, нонконформистами... У меня округлялись глаза, когда я слышал всё это.

По расчёту младотроцкистов, эта новая генерация должна была прогнать из редакций газет, телевидения, журналов и издательств всех, сочувствующих “краснокоричневым”, и заняв их места, создать иную реальность, похожую на “реальность” изображения в кривом зеркале.

Перетасовав писательскую колоду, Евтушенко передал ведение собрания мне. Несмотря на инсинуации Черниченко, Нуйкина, Оскоцкого, отправляясь в США, он хотел оставить меня “на хозяйстве”.

Но тут в зале собрания появились Юрий Бондарев, Борис Романов, Валентин Распутин, Станислав Куняев, Владимир Крупин и ещё десяток писателей из другого лагеря. Это было столь неожиданно, что Черниченко едва успел выбежать к трибуне и встать в позе “защитника ворот”, широко расставив ноги.

Бондарев под свист и улюлюканье “списочных писателей” ринулся к трибуне, намереваясь сделать заявление.

Короткая перепалка: “Руки прочь!”, “Фашист!”, “Это уголовщина!” – затем лёгкая потасовка, и Юрий Васильевич занял место в президиуме. Он передал мне записку с просьбой дать ему слово. Евтушенко краем глаза прочитал и шепнул: “Ни в коем случае!” – и по бледному лицу его я понял, что он напуган появлением в зале Бондарева.

Я шепнул Евтушенко, что надо дать Юрию Васильевичу слово, чтобы змять скандал.

– Он никто! – стоял на своём Евтушенко. – Он исключён из секретариата и из членов правления...

Когда Бондарев сунул мне в ладонь уже вторую записку, я встал и сформулировал своё объявление так:

– Слово предоставляется гостю нашего собрания, председателю Союза писателей России Бондареву Юрию Васильевичу!

Едва Бондарев успел сказать, что писатели России не признают захват Союза писателей и так называемое его новое руководство и намерены выйти из состава Союза писателей СССР, как “лесбийские авторы” заглушили его слова криками и улюлюканьем.

Юрий Васильевич выдержал паузу и, сойдя с трибуны, крикнул:

– Патриоты, на выход! – и шагнул к дверям зала.

Станиславу Куняеву и Владимиру Крупину, которые тоже пытались выступить, так и не дали этого сделать, заглушая их непрерывным улюлюканьем и свистом...

* * *

На Востоке подмечено, что дом, который построил хозяин, по мере старения самого хозяина тоже ветшает и часто незадолго до смерти человека крыша вдруг проваливается или фундамент оседает.

Ближе к полудню следующего дня, когда Евтушенко сосредоточенно перебирал бумаги в столе перед отлетом в Америку, зазвенел городской телефон. К правительственному он протягивал руку сам. Мне же был предоставлен городской и аппарат внутренней связи.

Юрий Николаевич Верченко сообщил о кончине Георгия Мокеевича Маркова и просил от имени семьи покойного помочь в организации похорон писателя.

Первым откликнулся Черниченко:

— Никаких похорон!

Савельев поддержал:

— Он, подписавший позорное письмо против Сахарова и Солженицына...

Евтушенко мыслями был уже далеко в Нью-Йорке и не вмешивался в разговор, задумчиво подпирая подбородок рукой.

Я впервые увидел Г. М. Маркова на трибуне VIII съезда писателей, когда во время чтения отчётного доклада ему стало плохо. Дальше текст читал Владимир Васильевич Карпов, выхватив из слабеющих рук Маркова эстафетную палочку по пути к кабинету, где мы сейчас собрались. Это была задумка идеолога партии А. Яковлева, ведь Юрий Васильевич Бондарев признавался мне, что в 1987-м Политбюро предложило ему возглавить СП СССР. Бондарев отказался, зная, что если он будет вести дела “по совести, а не по указке”, по науськиванию того же Яковлева, то его подвергнут остракизму, как сделали это с С. Бондарчуком в Союзе кинематографистов.

Сейчас все эти деятели, которым не без участия Г. М. Маркова вручали награды, премии, издавали их книги, посылали за казённый счёт десятки раз за границу, переселяли в просторные квартиры в писательских многоэтажках у метро “Аэропорт”, давали творить на переделькинских дачах и лечили в лучших клиниках Москвы — эти люди упёрлись и не хотели проводить в последний путь человека, так много сделавшего для них.

Выглянув в окно, я представил себе картину: скоро подъедет катафалк, вынесут гроб, и он будет стоять во дворе в окружении родственников и близких, потому что Евтушенко медлил, не давая распоряжений, чтобы подготовили хотя бы малый зал ЦДЛ для прощания с усопшим.

Верченко ещё раз позвонил: везти ли гроб?

— Женя, — обратился я к Евтушенко, еле сдерживая себя, чтобы во второй раз не бросить ему на стол свой членский билет. — Это непристойно. Не может гроб с покойным стоять во дворе под солнцем в ожидании, проснётся ли в нас обычная человечность... А что касается подписантов в отношении Сахарова и Солженицына — среди них есть и сопредседатели нашей организации: Чингиз Айтматов, Василь Быков, Афанасий Салынский... Как быть с ними, если не дай Бог...?

— Я своё мнение сказал, — Черниченко, с укором глянув на Евтушенко, вышел.

Евтушенко, Анфиногенов и Савельев двинулись за ним, оставив меня принимать решение. Третий звонок Верченко подстегнул меня. Поскольку Евтушенко оставлял меня “на хозяйстве”, я решил действовать по собственному усмотрению.

— С залом в ЦДЛ не получается, отдан под поэтический вечер, — сказал я Верченко. — С деньгами поможем...

Вызвал Клавдию Матвеевну Ковалеву. Главбух явилась с красными, заплаканными глазами — всё же проработала с Марковым десять лет душа в душу.

— Надо помочь близким Георгия Марковича. — Едва я сказал это, как Клавдия Матвеевна уже вынимала из папки готовые финансовые документы на подпись.

— Я знала, что вы так решите, — сказала Ковалёва и добавила, сделав паузу: — Отношение коллектива к вам, Тимур Исхакович, стало меняться к лучшему. Особенно после того, как вы приказали Баку продать выделенную вам машину Залыгину... А ведь Бак заранее всем сказал: вот посмотрите, этот азиат, ездивший до приезда в Москву на ослике, обязательно присвоит себе “Волгу”... Будьте с ним осторожны. И с Савельевым...

Приехал на кладбище, я заметил у гроба покойного, кроме близких, всего нескольких писателей, среди которых был В. Крупин. Чуть позднее, по дороге в аэропорт, подоспел на панихиду и Евтушенко. Велел сказать мне прощальное слово.

Я отметил, наверное, банально, что Георгий Мокеевич был человеком своей эпохи и верно служил ее идеалам...

* * *

Избавившись от постоянного давления и надзора Евтушенко, я решил расправить плечи и управлять хозяйством присущими мне, восточному человеку, методами. Тем более что ещё раз убедился: окружающие меня *младотроцкисты* способны только усложнять жизнь себе и другим. Их Евтушенко назначил, чтобы следить за каждым моим шагом. В любое время рабочего дня Приставкин, Шатров, Черниченко, Андрей Дементьев, Нуйкин без стука шумно вваливались ко мне в кабинет и, не спросив разрешения, просматривали телеграммы, письма, документы, проходящие через канцелярию, звонили по правительственной линии связи. Прочую информацию им доставляла секретарь приёмной Антонина Александровна: она вела запись в гроссбухе, кто приходил ко мне на приём, сколько времени просидел; о чём шла беседа, она узнавала, приложив ухо к замочной скважине.

Чтобы немного отвлечься от слезки, я иногда насвистывал шлягер Окуджавы: “Мама, мама, я дежурю, я дежурный по “Апрелю”...”

... В то утро за мной следил смотрящий из сопредседателей – Андрей Дементьев. В отличие от Приставкина, который с порога устремлялся к моему столу, дабы я не успел спрятать *компрометирующие* документы, уличающие меня в недозволенных связях с “фашистами” из бондаревского Союза, Дементьев вёл себя деликатно. Соответственно давней характеристике, данной ему С. А. Баруздиным: “Комсомольский поэт, пишет милые стихи...”

– Что пишешь? Что говорят? – по его ничего не значащим вопросам я понял, что у него, как и у других, после отъезда Евтушенко поостыла революционно-чекистская страсть. Дементьев, как и Приставкин, Шатров, Бакланов, мечтал вернуться к письменному столу, к обиженной долгим его отсутствием Музе...

Непонятно тогда, ради каких целей растормошили Союз писателей, если их в итоге потянуло к письменным столам и конторкам?..

Пока я размышлял над этим, глядя вместе с Дементьевым в окно на посеребривший осенний двор, там раздались крики. Сорвав с петель ворота, к памятнику Толстому приблизилась компания из двадцати пяти-тридцати человек, неся над головой самодельные плакаты.

От неожиданности мы отпрянули от окна, но я заметил, что, выкрикивая какие-то лозунги, они вдавливают в землю у входа в здание Союза шест с чучелом и с табличкой “Гангнус-Евтушенко” и поджигают чучело под одобрительные выкрики толпы. Пламя лизнуло клетчатую кепку на чучеле, она слетела на асфальт и скукожилась. При свете пламени среди собравшихся я различил лица Бондарева, Бориса Романова, Юрия Лопусова, Геннадия Гусева... Свистя и улюлюкая, радуясь, как малые дети жертвенному огню, они передвигались с места на место с транспарантами: “Захватчики – вон из “Дома Ростовых”, “Пулатов, сколько можно объедать голодных московских детей?!”

На Дементьеве лица не было. Он метался, стараясь спрятаться куда-нибудь.

Едва пугало догорело, оставив голый остов из проволоки, Бондарев с несколькими соратниками двинулся внутрь здания. Дежурившие ЧОПовцы наступили перед ними. Я услышал, как дверь кабинета напротив, где сидел Анфиногенов, закрывается на ключ изнутри. Затем последовал грохот сдвигаемого вплотную к двери стола: видно, Артём Захарович не надеялся на хлипкий замок. Шум передвигаемой мебели послышался и из кабинета Савельева, пытавшегося забаррикадироваться и дозвониться до главного милиционера столицы – Аркадия Мурашёва.

Юрий Васильевич широко распахнул дверь кабинета и, сделав несколько твёрдых шагов, остановился. Не до конца понимая, зачем Бондарев пожаловал ко мне, я встал напротив него в непримиримой позе, скрестив руки на груди, как Наполеон в горячей Москве. Дементьев попятился к комнате отдыха, хотя любопытство пересиливало в нём страх.

Шедшие за Бондаревым люди, просунув головы в полуоткрытую дверь, наблюдали, чем же закончится наш поединок.

– И ты, Брут?! – обратился ко мне Юрий Васильевич в своей манере к каждому событию привязывать аналогии из античности или Средневековья. – А ведь мне нравилось читать про строптивного бухарца, – но, видимо, вспомнив, что я, вопреки воле Евтушенко, предоставил ему слово на том позорном собрании, смягчился и дружеским тоном сказал: – Езжай-ка ты в свой Ташкент. У меня о нём остались самые светлые воспоминания. Арыки, плакучие ивы с опущенными в воду ветвями, мостик у сквера Дома офицеров...

Он вдруг повернулся, уводя за собой команду.

Едва двор “Дома Ростовых” опустел, развеялся едкий дым от спалённого чучела, как ко мне зашли Оскоцкий и Савельев, предварительно задержавшись в приёмной, где Антонина в подробностях рассказала им о подслушанном под дверью разговоре.

– Нашествие варваров-язычников, – прокомментировал Савельев. – Вспомнили, как их отцы и деды сжигали чучела в деревнях, чтобы отпугнуть леших и домовых...

Оскоцкий ходил в раздумье взад-вперёд.

– Как же сделать, чтобы загнать их раз и навсегда на Комсомольский, чтобы они не смели даже переходить через проспект?

“Хорохорятся, а ведь минуту назад дрожали в страхе, забаррикадировались, – подумалось мне с неприязнью. – Пришли успокаивать своего Андрея... Я же для них рядовой “дежурный по апрелю”...”

– Как их загнать? – сказал я с иронией Оскоцкому. – Попросите градоначальника Гавриила Харитоновича, чтобы не поскупился на несколько тонн цемента, возвёл вокруг Союза писателей России стену, как на границе сектора Газа.

– Неумно, – поморщился Оскоцкий.

И тут я вспомнил о том личном, творческом, что всякий раз тревожило меня при виде Оскоцкого:

– А умно было вам, Валентин Дмитриевич, когда вы работали в “Дружбе народов”, будучи в душе либералом, отвергать мою повесть “Сторожевые башни”, якобы папахивающую антилагерным душком?

– Это – запрещённый приём! – отрезал Оскоцкий, направляясь к двери, хотя его пытался успокоить оживший Дементьев:

– Ребята, успокойтесь, главное, мы отстояли наш Союз...

– А что бы варвары сделали? – уже в дверях подал голос Савельев и, как всегда во время мелких или крупных конфликтов, повторил свой воинственный клич:

– Мы бы их размазали по стенке, вот так!..

(Продолжение следует)